

Сборник

Грани. № 2

**Москва
«Книга по Требованию»**

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Парни выбивали трель каблуками и ловко щелкали ладонями по коленкам Широкие юбки девушек раздувались колоколом Народ прихлопывал в ладоши и кричал от удовольствия

У калитки росла кудрявая ветелка Я взбирался на дерево и смотрел оттуда на пляшущих

— Вот бы так научиться! — как-то подумалось мне

Утром я побежал в свиной хлев, сдвинул ногами мусор к стенкам и начал плясать Прыгая с ноги на ногу, я щелкал по коленкам, а потом подошел к стене и попробовал стать на голову кверху ногами Долго мне это не удавалось, но недели через две я научился Теперь нужно было побольше запомнить деревенских прибауток и научиться присвистывать во время пляски

Однажды к хлеву подошел отец Я испугался и притаился в углу Отец улыбнулся

— Чего прячешься-то? Я ведь в щелку все видел Молодец, хорошо придумал Это получше, чем в земле ковыряться Какая радость от нашей работы, окромя мученья? А ты вот подучись получше — в цирк тебя отдам Будешь под куполом на качелях кувыряться, огненные факелы глотать. Справишь господскую одежду, будет у тебя костяная тросточка с собачьей головкой А в деревне что ты увидишь? Вечно будешь щеголять в худых портках

После этого я еще усерднее изобретал всевозможные плясовые фигуры Однажды, после купанья, чтобы поскорее согреться, я плясал на берегу реки все, что выучил за месяц Товарищи от удивления раскрыли рты

— Ой, и здорово! Ни один парень так не сумеет!

В тот же вечер у нашей избы, как всегда, собрался хоровод Я сидел на ветелке, девки и парни танцевали под «саратовскую» Вдруг мои товарищи закричали

— Неинтересно, плохо! Надоело! Только кружатся да пылят! Посмотрели бы как Митька пляшет!

Народ зашумел

— Чего-ж ты торчишь на дереве, словно ворона?

— Ну-ка, покажи свои шутки! Мы давно слышали, что ты подучаешься в свином хлеву

У меня забилось сердце

Я спрыгнул с дерева и запел

Раздайся народ,
Меня пляска берет,
Пойду попляшу,
Людей посмешу!

Бабы и девки засмеялись

— Ой, постреленок! Гляди-ко-сь, что от него отродилось! Похоронить собирались паренька, а он вон какие пули отливает!

Я выбежал на середину и, щелкая по коленкам, запел

Пошла плясняя,
Рукавами трясня,
Вот я, вот я,
Вот выходка моя!
Сиди, Устя,
Рукава спусти;
Спляши, Устя,
Пожалуйста
А чук, чук, чук,
Наловил дед щук,
Бабка рыбку печет,
Сквородка течет!

Я бегал по кругу, приседал, выбивал трель, корчил рожи, а под конец стал на голову и задрывал ногами Мужики схватили меня и начали бросать выше дерева, приговаривая

— Ай да молодец! Ай да чудесник!

— Прямо настоящий клоун

— Теперь тебе нечего торчать в своей деревне По-езжай в город Будешь богатым людей в чайных и трактирах забавлять А богатого человека потешить, он рублевки не пожалеет В один год капитал нажи-вешь

V.

С тех пор началась моя слава забавника, клоуна, скомороха Слух обо мне разлетелся по многим окрестным деревням Мужики и бабы, подвыпив, говорили

— Эх, позвать бы Митьку! Дать бы ему копейку и ломался бы с утра до вечера!

Меня стали звать на праздничные и свадебные гулянья Осенью справлялось большинство деревенских свадеб Убрыв урожай, наполнив душистой пшеницей закрома амбаров, богачи засылали сватов к девкам, которые потолще, покруглее на лицо и поименитнее Пока сваты вели переговоры с родителями невесты, ее подруги стояли у окна на улице Главный сват и хозяин дома пожимали друг другу руки, потом вся семья вставала и начинала молиться Значит — просватали Подруги запевали

Вы сады мои, садочки,
Сады — цветики лазоревые

На улице в эту пору у каждой заваulinки толпился народ Заслышав напев величальной песни, каждый притихал и слушал

Как во этих во садочках
Уродились два яблочка
Как первое в саду яблочко
Что Иван-то Семенович,
А второе рассыпчатое
Что Настасья Михайловна

Народ удивлялся

— Ой, неужто Ванька Губошлепый Настютку подцепил? А мы-то, дурьи башки, прозевали Ведь это не девка, а настоящий клад — старательная, работающая Холстов наткала — и на штаны, и на юбки, и на подставки А уж какая справная покуда кругом нее обойдешь, три калача съешь

— Это что за диковина, — вмешивалась в разговор какая-нибудь баба, — холсты у каждой девки есть и телесами одна не хуже другой А вот диковина у Настютки есть такой талант, какому любая подруга позавидует

— Что же это за талант?

— Очень ловко в голове ищет Щелкнет ногтем по кленовому гребню — на другом порядке слышно

— Ну, не девка, а прямо золото!

На другой день в нашу избу шли посыльные из жениховой семьи

— Тетка Аграфена, отпусти своего клоуна к нам на свадьбу Пускай почудит, гостей позабавит Уж мы жалованьем не обидим

— А мне что, жалко что ли? — отвечала мать, — пес с ним, пускай идет, только молочком там его попотчуйте Страсть как любит, а где его взять? Семья вон какая орава, а коровенка не мудрая двух наперстков не надаиваю

— Да будет тебе, тетка Аграфена, сумлеваться Чай не куда нибудь зовем, а на свадьбу — уж и попоим и покроем

Меня уводили дней на десять

Свадьба состояла из малого запоя, большого запоя, стовора, венчанья и отводов или отгулов На свадьбу приглашались дядья, тетки, двоюродные братья и сестры, свояки, золовки, деверья, крестные отцы и матери с жениховой и невестинной стороны Каждый из родных должен был пригласить всех гостей к себе Гости усаживались за шестью — семью столами В переднем углу са-жали молодых Клоуну давали почетное место рядом с женихом или невестой. Каждый подкладывал мне уго-щенье: масляный блинчик, кусок лапшевника, куриную ногу, холодное мясо, ватрушку, пирог с изюмом и кали-ной

— Ешь, плясун, подкрепляйся! А то сейчас у тебя начнется потовая работа, всю силенку растрясешь

Я мог бы съесть все, чем меня потчевали, но боялся, что тогда пляска получится хуже: тяжелее будет прыгать и становиться на голову.

— Хорошо бы, — думал я, — все это спрятать за пазуху, а вечером дать отцу, матери, братьям и сестрам. Но прятать на глазах у людей я боялся и в то время, когда все наедалось до отвала, я оставался полуголодным. Еще за столом гости запевали веселые песни. Потом шли в другой дом — старики и старухи позади, в обнимку. Положив друг другу руки на плечи, человек пятнадцать — двадцать перегораживали улицу поперек и, пока пинаясь, пели:

Веселая беседа, где батюшка пьет,
Он пить не пьет, за мной молодой шлет.

Пение прерывалось объятиями, поцелуями:

— И-их, куманек, как я тебя уважаю... Во-как!

— И я тебя — во!

Впереди, вместе с гармонистом, шли молодки, девушки, солдаты.

Сбросив лишнюю одежду, платки и полушалки, они прыгали под музыку и выкрикивали:

Ой, сыпь, Пронька,
Подсыпай, Пронька,
А я, кума Сонька,
Пройдусь потихонько!
Ой, глазки мои,
Синие прищурки.
Один Ваське мигает,
А другой Шурке.
Их! Их! Их! Их!

Девки взвизгивали и вихлялись перед мужиками.

Иногда на богатых свадьбах во время гулянья по улице разбрасывали дешевые конфетки. Взрослые, стесняясь охотиться за сладостями, подзадоривали детей.

— Васька, слепой чертенок, не видишь у Анютки под ногой?.. Хрясни ей по зенту сторону зубов!

Дети из-за конфеток копошились в грязи, свиваясь в клубок, драли друг друга за волосы.

Я шел впереди и плясал вместе с молодежью. Ко мне подходил хозяин:

— Митька! Клоун! Что ты словно спутанный? На голову стань! Ногами подрыгай! Жалованье прибавлю!

Я запевал веселые прибаутки:

Ой, кот кошке
Купил полусапожки.
Она ими гребует,
С калошами тресбует.

Потом становился на голову и дрыгал ногами.

Из всех калиток на улицу бежал народ. Старики говорили:

— Вот так свадьба! Вот так веселье! Нам с худым карманом такой красоты не справиться!

— А Митька-то! Митька-то! Ну и дьяволенок! Прямо не человек, а тварь бескостная!

VI.

Однажды я забавлял гостей в самом богатом доме нашего села: женился сын церковного старосты.

Дело было на второй день Троицы. Погода стояла тихая. Жаркое солнце сыпало пригоршнями лучей на зеленую улицу, на поникшие ветки березок, украшавшие каждую избу.

Просторная горница старосты была густо устлана свежей травой, распространявшей приятный аромат.

Передний угол занимала огромная икона: Бог Саваоф в розовом хитоне, восседающий на престоле. В одной руке Он держал скипетр, в другой — шар. Вокруг Него летали птички с человеческими головами. Икона, тусклое зеркало в простенке, украшенное бумажными цветами, и лубочные картины были обрамлены полотенцами с вышитыми концами.

За семью столами, покрытыми красными, желтыми и голубыми скатертями, сидели вспотевшие разряженные гости. Возле дома толпился народ.

Венчание было накануне. Теперь молодых «сдавали с рук». Они стояли посреди горницы. Невеста была в шелковом розовом платье и в голубом полушалке с крупными золотистыми цветами. В красивых карих глазах притаилось большое горе.

А жених весело улыбался. Маленькие глаза, словно пуговицы, приплюснутый нос, оттопыренные уши и раскрытый рот обнаруживали его придурковатость. Он был в зеленой шерстяной рубашке. Белые толстые кисти шелкового пояса выглядывали из-под пиджака. Лаковые сапоги яростно скрипели при каждом движении.

Весельем заправлял белокурый кучерявый дружка в белой вышитой рубашке, с полотенцем на правом плече, завязанным с левого бока. В руках дружка держал четверть с водкой. Из кухни то и дело приносили холодные и горячие закуски. По этому случаю дружка баловали:

Поварушка-матушка,
Шевелись, не ленись, поворачивайся.
Стань на куньи лапки,
Достань до судной лавки.
Погляди-ка на чело,
Не забыла ли чего.
Что есть в печи,
Все на стол мечи.
Оставляй в печи
Одни кирпичи.

Гости смеялись и выкрикивали:

— Ай-да дружка, веселая ножка!

— Бочкарь-гвоздарь, клиньев забиватель!

На всех гостей было только два толстых граненых стакана, суживающихся книзу. Они назывались «пятакшными», — на их доньшке как раз умещался медный пятак. Вино пили по-очереди сразу двое — муж и жена, брат и сестра, бабушка и дедушка. Пригубив стаканы, они притворно морщились и говорили:

— Ой, горечь со всего вольного свету!

Молодые целовались. Нарядная красивая молодуха еще крепилась и после каждого поцелуя отворачивалась от своего супруга. А он, раскрасневшийся, глупо ухмылялся и шмыгал носом.

Шутки, песни, звон тарелок, оживленный разговор — все это смешивалось в бесполовую музыку, которой завидовала толпа, собравшаяся возле дома.

Но молодуху не радовали ни дорогие наряды, ни подарки, ни веселье гостей. Не по любви она вышла замуж. Родители польстились на богатство жениха.

В переднем углу сидела сваха — сдобная, пожилая женщина с круглым рябоватым лицом и острыми черными глазками, словно плававшими в масле. На плечах у нее — старинный французский платок.

— Поликарповна, — шептали ей бабы, — что это молодуха-то косоурится?.. Ни разу не взглянет на молодого.

— Робкая она... Совсем еще птенчик. Дай срок — привыкнет.

— Подсластите, голуби сизокрылые,
Развеселите глазки унылые, —
звонко крикнул дружка, и молодая повернулась лицом к гостям. Она силилась улыбнуться, сдерживая готовые хлынуть слезы.

На столы подали молочную пшеничную кашу. В середине каждого блюда с кашей была ложка, в которую наливо пахучее, желтое, как лютарь, коровье масло.

Каша пошла в колупанье,
Молодые в целованье, — острел дружка.

— А где же хозяин? — спохватился кто-то из гостей, — где Тихон Семенович?

Все заорали:

— Подать сюда хозяина! Не желаем угощаться без Тихона Семеныча!..

— Это не модель: гости за столом, а хозяин запропал!

Не за синими морями,
Не за снежными горами,
Освежиться вышел,
Тише, гостечки, тише, —

попытался успокоить разбушевавшихся дружка.

В сенях послышались шаги и кто-то злым, надтреснутым голосом крикнул:

— Тпру!

Гости притихли. В горницу вошел хозяин с топором в руке, — высокий сухопарый старик в голубой сатиновой рубашке ниже колен. Его узкое лицо заканчивалось длинной седой бородой, похожей на льняную кудель. Жиденькие желтоватые волосы на голове расчесаны грядым пробормом и обильно смочены деревянным маслом. Он был похож на праведника, каких рисуют на стенах церквей.

Но сейчас его глаза метали искры леденящей злобы.

Тихон Семеныч вынул из кармана тонкий чайный стакан с темным пояском внизу и тихонько ударил обухом топора по доньшк. Оно, звякнув, отвалилось... Хозяин бросил топор на пол и сказал, обращаясь к дружке:

— Передохни, Петрович, теперь я потружусь за тебя.

Дружка отдал хозяину почти полную четверть вина.

— Держи, — сказал Тихон Семеныч, протягивая свахе бездонный стакан.

Она испуганно замахала руками:

— Совсем очумел старик. Знать, белены объелся!

Гости подобострастно хихикали.

— Тихон Семеныч любит пошутить!

— Держи, обманщица! — крикнул хозяин, — гостечки, приневольте ее взять стакан!

— Ну, чего ж ты кобенишься? — зашумели за всеми столами.

Сваха не могла больше прекословить и протянула руку.

— А теперь, гостечки, поглядите, каким почетом я награждаю Поликарповну!

Хозяин наклонил четверть над бездонным стаканом. Вино полилось на стол, со стола на пол. Гости почуяли что-то недоброе и затаили дыхание. Кое-кто зашептал:

— Неспроста она воротит от него морду!

— Вот так тихоня... Гляди-сь, чего отчубучила!

Рука свахи тряслась, а вино лилось и лилось. Молодушка надвинула платок на лицо и стала бледной, как смерть. Когда четверть опустела, хозяин бросил ее на пол. Она лопнула, как бомба.

— Спасибо, Поликарповна, подсудобила невестушку. Век не забудем твоей доброты, — прошипел хозяин.

— Аль с изъяном? — закричала сваха, — нет, нет, не может этого быть!

— Не заручайся, Поликарповна! Такое дело в частом бываньи, — зашумели гости за всеми столами.

Сваха, как ужаленная, расталкивая гостей, подскочила к молодухе.

— Говори, потаскуха, правда аль нет? Я тебя нахваливала: «Такая-сякая, несмеяна-царевна, свеженькая, словно первый огурчик, а ты стерва, бездонная...»

Сваха трисла в руке стакан и плевала в лицо Анюты.

— С кем путалась, ведьма?

Поруганная склонилась все ниже и ниже.

— Она молчит, ты отвечай, — дернула сваха за пояс жениха, — с печатью молодуха?

— До меня успели распечатать, — глупо ухмыльнулась сваха.

— Ну, стало-быть я виновата: молесдину вместо добротного сукнеца сбыла.

Гости заготовали, заулюлюкали. Многие из родных, которые за несколько минут до этого отказывали в пользу молодых телят, ярочек, кур и гусей, теперь чертыхались и проклинали Анюту. Ее мать заголосила, как по покойнику. Отец, коренастый, чернобородый мужик, вылез из-за стола и, схватив дочь за волосы, начал стучать ее головой об пол.

Я не мог больше выносить надругательства над невестой и закричал:

— Пустите меня!

— Ты куда? — зашумели гости, — плясать, что-ли?

Я подскочил к невестному отцу и впился зубами в его руку. Он дико заорал и отступился от дочери. Тогда Тихон Семеныч схватил меня за ноги и стал расквашивать головой вниз.

Гости захохотали. Народ на улице забеспокоился о том, что староста убьет «клоуна».

Старик бросил меня на кровать, застеленную лиловым стеганным одеялом. Четыре пышно взбитых подушки в белых наволочках с прошивками красовались в изголовьи. Я схватил верхнюю и бросил ее на стол. Загрела упавшая на пол посуда.

— Цыц, клоунское отродье, — топнул ногою староста.

— Сами гады, сволочи! — закричал я, сползая с кровати и выбегая из дома.

Больше недели на улице и в каждой избе только и говорили об издевательствах над Анютой и о моей смелости.

Моя нога после этого не переступала порога старостины дома. Бабке Матрене было жалко заработанных мною денег и она осмелилась напомнить Тихону Семенычу в один из праздничных дней, когда они вместе выходили из церкви:

— Надо-бы убоготворить мальчишку, Семеныч, ведь изо-всех силенок старался, целую неделю надрывал себя.

Староста сделал постное лицо.

— Не напоминай ты мне об этой срамоте... Погуляли... Нечего сказать: тридцать кур уписали, пять овец слопали, быка-полутонника стрескали, яловую корову сожрали: три сотни, как одну денежку фукнули, а кого усватали?... Господи, кого? Стыдно людям в глаза глядеть. На тысячу — разбору, на миллион позору. Черт с ней, что она ушла, парня жалко. Кто теперь за него пойдет после такой надсмешки? А ты еще, бабка Матрена, лезешь с жалованьем для клоуна... Не до того мне.

VII.

Все заработанное на гуляньях я отдавал матери. Для себя нельзя было утаить ни гроша. О каждой выпляннанной копейке знали снохи, дед и бабка. Мать складывала мои деньги в зеленую коробочку из-под чая, на которой было написано: «Высоцкий и К-о». Коробочка пряталась под холстами в сундучке, у которого внутренняя сторона крышки была облеплена конфетными бумажками, этикетками ситца, винных и пивных бутылок. Все эти сокровища подбирались на ярмарках и базарах.

На выпляннанные мои деньги покупали соль, спички, керосин, конопляное масло, елей для лампадки, а иногда и соленую распластанную рыбу. Ее варили в «Петровки» и «Спожинки». Ели с квасом и зеленым луком. Сначала хлебали жижу. Потом отец ударял ложкой о край чашки. Это означало, что можно поддевать и рыбу. Дети торопились захватить кусок побольше и спешили отделять мякоть от костей.

Мать сердилась:

— Ишь, какие господа-дворяне. Еще выбирают... Нарочно долго варила, чтобы каждая косточка размякла... Небось можно и целиком глотать.

Мать носила бордовый платок наизнанку. Я часто говорил ей:

— Мама, на той стороне цветочки и белые крапинки. Почему же ты их прячешь в середку? На изнанке платок некрасивый.

— Вот когда у тебя будет какая-нибудь радость, тогда я покрою его по другому.

Мать ждала радостного дня или случая, но радость так и не пришла. Платок протерся в сгибе и разорвался на два косяка. Тогда я сказал:

— Возьми денег из моей коробки и купи новый платок.

Мать посмотрела на меня удивленными глазами, как будто я просил у нее достать звезду с неба.

— Да ведь тогда мне, сынок, житья не будет.

— Ведь деньги-то мои, — настаивал я.

— Деньги-то твои, а хозяин не ты.

— А кто-ж?

— Дед и бабка.

— Они не узнают.

Мать соблазнилась, пошла в деревенскую лавку, где можно было купить всякую всячину, и облюбовала себе синий кубовый платок с мелкими розовыми цветочками. Не успела она переступить порог избы, как забушевали старики и снохи.

— Бездомовница, растащила, — кричала бабка. — Люди берегут копейку к черному дню, а она наряжаться вздумала.

Дед слез с печки и, размахивая своим костылем, грозил:

— Сокрушу, в щепки изломаю сукину дочь!

Страшно было глядеть, как слепой старик суется по избе в поисках матери.

Сбежались соседи, стали уговаривать стариков.

— Ведь вам же хуже будет, если Митька перестанет плясать.

— Сейчас вы рыбку кушаете, а тогда будете только квас с луком.

Я не утерпел и закричал:

— Мои деньги, кому захочу, тому и отдам! Лучше в колодезь брошу, а вы не получите ни копейки!

Дед метнулся в мою сторону, споткнулся о табуретку и растянулся на полу, разбив до крови нос. Его подняли и посадили на печь.

— Сжимают со света, — стал он жаловаться и по-детски захныкал.

Мать ушла в свиной хлев и заголосила.

— Господи, да почему-же это у людей-то все по хорошему? Стукнет человеку семьдесят лет, он и околеет, а у нас девятый десяток пошел хрычу, а он все скрипит.

Я ходил в жесткой, самотканной посконной рубахе и самотканых портах. Им не было износу. Толстый корявый холст зудил тело, но я понимал, что мне, как клоуну, неприлично чесаться.

— Мама, когда же мне купят небесную рубаху и мягкие штаны? — спрашивал я. — Пляшу, пляшу, а все как нищий. Весь народ смеется: «Уж не можешь выплести себе обновок».

— Погоди, сынок, не до нарядов. Вон колеса у телеги сломались, починить надо.

И весь мой годовой заработок уходил на ремонт колес. Снова нужно было забавлять богачей. Перед страдой мать говорила:

— Скоро в поле ехать, а пшеница на кашу нет. А от лапши какая сила? Десять снопов свяжешь — и дух вон. Каша дает силу человеку. Если велишь взять твои деньги, то у нас будет еда, как у людей.

— Да уж берите. Так вечно в портах и буду ходить.

— Скоро нарядим тебя, сынок, как картинку, — говорила мать, потупясь.

Она знала, что я не верил ей.

VIII

Прошло четыре года со дня моей первой пляски. Приближалась осень — свадебная пора.

— Не пойду я на свадьбы в самотканной рубахе, решительно заявил я. Брат Степка сказал:

— Надо иметь совесть. Человек все свои косточки изломал, а его ситцевой рубашкой не порадуют.

Снохи промолчали.

— Доставай деньги из сундука, — приказал отец.

Мать вынула зеленую коробочку. Деньги высыпали на стол. Степка стал считать копейки, семишники, гривны, пятаки. Денег оказалось три рубля семьдесят копеек.

— Ну, чего-ж? — спросил отец, — покупать что-ли?

— Деньги Митькины, значит и толковать нечего, — заявили братья.

Мать очень хотела, чтобы я нарядился, но боялась замолвить за меня словечко. Отец обратился к деду и бабке, сидевшим на печке.

— Ну, а вы чего языки прикусили? — покупать что-ли для Митьки обновки?

— Чего-ж у нас спрашивать? — обиженным тоном сказала бабка. — Мы, уж видно, в этом доме не хозяева.

— Эх, ты, — сердито покачал головой отец, — все шипишь. Ведь помирать скоро. Хоть перед смертью малость бы подобрела.

— Бог знает, кто скорее окачурится, — не сдавалась бабка.

— Да будет вам, опять сцепились, — закричали братья, — иди, мать, в лавку и покупай, что его душеньке желательно.

Мать пошла в ту самую лавочку, где когда-то покупала аршин коленкору для моей смертной рубашки, а вечером уж кроила голубой ситчик с белым горошком и черный штанный материал в лиловую полоску.

К воскресенью обновки были готовы.

День был холодный, но солнечный. Летала паутина. В светлом, безоблачном небе курлыкали улетающие на юг журавли.

Чуть свет я был уже нарядным и пошел в церковный конец, где жили богачи. Народ показывал на меня пальцами.

— Глядите, глядите, клоун-то великанится!

Я подошел к дому церковного старосты.

Тот самый придурковатый парень, на свадьбе которого все измывались над красавицей Анютой, натравил на меня двух больших дворняг.

— Взы! Ешьте клоуна!

Я побежал, собаки за мной. Споткнулся о кочку. Собаки стали рвать мои обновки. На мой крик сбежались мужики. Отбили от меня собак и стали ругать старосту на сына.

— Эх ты, верзила! А еще жениться хотел! Да с таким дураком ни одна баба жить не будет. В кандалы тебя заковать, стервеца, да в Сибири сгноить! На кого вздумал натравить собак. Ведь этот человек всему народу радость дает, а ты его собаками травить, безмозглый котел!

Меня повели домой под руки. На клочках изорванных обновок краснели пятна крови. Мне было больно от укусов. Но сильнее этой боли была тоска. Так много лет мечтал я о небесной рубашке. И вот она уже в клочках.

Я слег в постель.

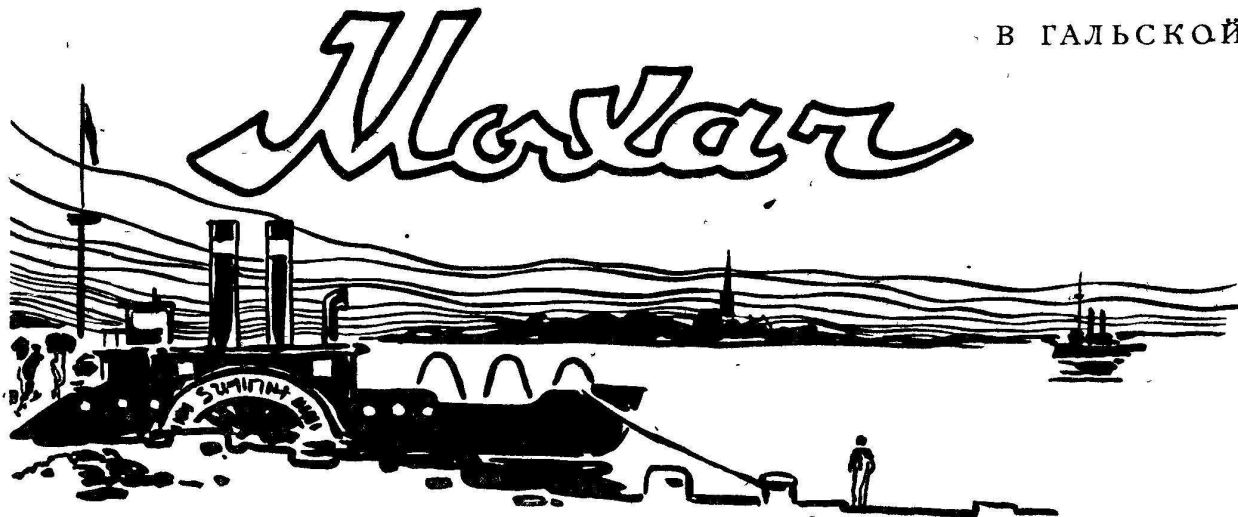
Хороводы возле нашей избы больше не собирались. Девки вечерами бежали в конец села. Они подходили к нашей избе и стучали в окно.

— Тетка Аграфена! Ну что с Митькой? Все хворает?

— Хворает, милые. Да еще как хворает-то. Как бы Антонов огонь не приключился.

Девки сложили про меня песню и часто пели ее под окном.

Не ходи ты, клоун,
В церковный конец
Там собаки злые,
А народ — стервец.



Однообразное движение колес
Шевелит воду мутную Дуная,
И птиц ленивых спугнутая стая,
И берегов унылый желтый лес

Еще один последний поворот,
Описан нами плавный круг широко
И пристани — баржа истертым боком
Очередной приемлет пароход

Здесь грузят уголь Тачек длинный ряд,
Скрипя, вползает по дрожащим сходням
За ивами маячит колокольня
В осеннем небе стеклами горя.

Унылый край, безлюдны берега,
И только вывеска над низким кровом
Досчатой пристани поблекшим словом
Название «Мохач» уберегла

Последняя стена, разбита рать,
Тяжелый пар течет с реки волною,
Прохладною, ковыльной целиною
Просторы Угрии поверженной лежат

Куда бежать? Чужой победы рог
Уже трубит над горестной равниной,
И многолики, но едины
Юг, север, запад и восток

Устали кони, спотыкаясь, шли,
Вставал прозрачно-хрупкий серп двурогий,
Затравленный король, без войска, без дороги,
Пил аромат потерянной земли

Давили латы, онемев, рука
Безвольно никла к лошадиной триве,
Устало ветер в трепетном порыве
Дым деревень струил из далека

В тумане липком куталась земля,
Не видели глаза обман болота,
И вечности бесшумные ворота
Открылись, принимая короля

И где-то здесь, у этих берегов,
В трясине топкой вязли люди, кони,
И не были страшны уже погони
И не пугал звенящий звук подков

Погружен уголь, снова пароход
Скользит вдоль серой поросли ракиты,
И кажется далеким и забытым
«Мохач», затерянный у скучных вод



Пусть жизнь оборвется на живом звуке, сразу,
без стонов, без жалоб нищенских

Лесков.

Ранней весной я покинул Казань и поехал на могучую реку Печору. Контракт был подписан на пять лет. На Печоре, в Усть-Кожве, местное начальство определило меня в геологическую изыскательскую партию в качестве лаборанта полевой лаборатории.

Принимая лабораторию и роюсь в «Журналах анализов», я нашел несколько листков из дневника лаборанта Михайлова, моего предшественника, утонувшего в реке при спасении одного из рабочих. Листки были датированы 2-м и 3-м февраля 19. года. Начальник партии мне рассказал, что незадолго до смерти Михайлов сжег какие-то бумаги, очевидно дневник. Я сначала подумал, что листки за 2-е и 3-е февраля остались случайно, но потом решил, что Михайлов сохранил их намеренно на уголке первого листка остроотточенным карандашом, рукою покойного лаборанта мелко было написано «Я познаю правду». Привожу эти два дня из дневника.

«2 февраля.

Третий день метет пурга. Наши крошечные брезентовые палатки утонули в сугробах пышного снега. В одной палатке живет начальник геологической изыскательской партии инженер Петров, во второй — устроена маленькая полевая лаборатория, в этой, второй, живу я и два коллектора. В третьей — рабочие.

Вечер. Железная печка раскалена до-красна. Сосновые дрова звонко потрескивают, тускло блестят колбы и стеклянные цилиндры на моем столе. Слышно, как шуршит по брезенту крышки сухой снег. Слабо горит семилинейная керосиновая лампа с разбитым стеклом. Это стекло месяц назад разбил пьяный коллектор Головин, перед тем, как сойти с ума.

Я один. Оба коллектора, начальник партии и рабочие уехали третьего дня на гору Убысь-Кор бурить гравийные карьеры. Они должны были вернуться еще вчера, но, очевидно, помешала пурга.

Возле палатки рабочих повар Иван, мордвин с Волги, колот дрова. При каждом ударе топора он кричит и смачно ругался.

Я вывернул побольше фитиль лампы, присел к раскаленной печке, скрестил на коленях руки и задумался. Тонко свистел ветер в сучьях деревьев над палаткой. Забравшись в жестяную трубу, он пахнул из печки на меня черным, смолистым дымом. Горсть снежинок, провавшись в отверстие между трубой и брезентом, серебристой пылью осыпала меня, зашипела на раскаленном железе трубы.

Откинув полог палатки, запущенный снегом, вошел с охапкой дров Иван, бросил их на землю, отряхнулся.

— Ну, и погодушка, — негромко произнес он.

— Чай поставил? — осведомился я, мечтая попить кипяточку.

— В палатке рабочих поставил. Скоро закипит. Что-то долго ребята не возвращаются.

— Придут, куда не денутся.

Иван вышел, но через секунду снова проснулся. Голосу и, испуганно посмотрев на меня, тихо сообщил:

— Кричит кто-то в тайге.

Я поспешно вышел вслед за ним. Черной стеной стоял лес в белом кружеве снега. Меж быстро бегущих туманов мелькал зеленый диск луны, безразлично и плавно ныряя в дохматых облаках. Крутила метель. Я прислушался.

— Ы-и-и Ы-и-и — донесся откуда-то из леса неразборчивый крик. Кричала женщина и, повидимому, недалеко от нас.

— Ы-и-и-и

Я забежал в палатку, надел шапку и телогрейку, сунул за пояс маленький топорик, и снова вышел из палатки. Иван выдернул из сугроба две пары коротких, широких лыж, бросил одну пару мне и, натягивая ремни лыж на валенки, прерывисто проговорил:

— Недалеко кричит на реке.

В двухстах метрах от нашего бивака протекала речка Кожва, маленький приток холодной Печоры. Спуск к реке мы хорошо знали и быстро заскользили на лыжах меж стволов толстых лиственниц. Отъехав метров сто, мы остановились и прислушались. Шумела метель, скрипела на ветру тайга.

— Эй-и-и! — крикнул Иван, что было мочи.

— Сюда-а-а! — отчетливо послышался женский голос справа от нас. Кустарник не позволял идти на лыжах, мы сбросили их с ног и, утопая по пояс в снегу, пошли на голос.

Прислоняясь спиной к стволу, сидела, скорчившись, закутанная и запорошенная снегом женская фигура. Лица ее — не видно, вся голова была закутана теплым платком. Из-под него странно блестели большие темные глаза с инеем на ресницах. Рядом с ней валялся туго набитый дорожный мешок.

— Сбилась с пути. — проговорила она низким, чуть охрипшим голосом. — Вы кто?

— Геологи, изыскатели, — ответил я. — Вставайте, а то замерзнете.

Женщина поднялась.

— Лыжи я бросила. Такая метель. Далеко до вас?

— Нет, рядом. Пойдемте, обогреемся. Вы откуда?

Женщина замаялась, помолчала, потом тихо ответила. — Из Усть-Ухты. Несу почту, да вот сбилась с дороги, чуть не замерзла. Без лыж трудно будет.

— Я вам свои дам, — предложил я. — Только сначала вам надо высушиться и переждать пургу.

Войдя в мою палатку, она бессильно опустилась на койку и протянула озябшие руки к печке.

— Помогите раздеться.. у меня руки совсем окоченели.

Я развязал платок, снял с нее бушлат и стянул с маленьких босых ног промерзшие, заскорузлые валенки. Она влезла с ногами на койку, обхватила колени руками.

ми и, положив на них подбородок, пристально посмотрела на огонь

Иван хлопотал в своей палатке возле чайника и напевал песню на мордовском языке. Я подкинул дров и взглянул на гостью. Она сидела все в том же положении. Черные курчавые волосы беспорядочно рассыпались по плечам, оттеняя белый гладкий лоб. Яркие, чуть отвернутые, губы чему-то улыбались, а над темными большими глазами, на густых ресницах блестели не то капли растаявших снежинок, не то слезы. Короткие рукава шерстяной блузки обнажали красивые полные руки.

— Как ваше имя?

— Ирина. А ваше?

Я назвал себя и предложил ей выпить немного спирта.

— С удовольствием. Я так озябла, — согласилась она.

Я налил в маленькую мензурку слабо разведенного спирта и подал ей вместе с куском хлеба. Она выпила, закашлялась и замотала головой. Мы оба рассмеялись.

— Крепко?

— Очень, — ответила она, показывая в улыбке белые мелкие зубы.

Недалеко от палатки, оглушительно захлопав крыльями, взлетела птица. Ирина испуганно вздрогнула и поглядела на меня.

— Что это?

— Глухарь взлетел.

— А страшно ночью в тайге. Если бы не вы, я бы замёрзла.

Вошел Иван с кипящим чайником в руках.

Прихлебывая кипяток, заваренный сухими листьями черной смородины, мы слушали шум метели и вели неторопливый разговор. Мало-по-малу развеселились. Иван пел смешные мордовские песни и, как говорится, «под шумок» выпил весь мой запас спирта — около ста пятидесяти грамм. Добродушное, рябое лицо его залоснилось, как облитая яичным желтком розовая булка. Под конец он совсем разошелся и стал показывать уморительные мордовские танцы, лавируя между койкой, столом и печкой.

Мы забыли про пургу и на целый час ушли в какой-то новый для нас мир. Как немного надо человеку, чтобы быть почти счастливым!

Скоро спирт оказал свое полное действие на бедную голову Ивана и он, пошатываясь, отправился спать к себе в палатку, вежливо пожелав нам спокойной ночи. Я решил предоставить свою палатку Ирине, а переночевать у Ивана.

Как всегда бывает у людей, надолго изолированных от внешнего мира, после бурной вспышки веселья наступает тяжелое похмелье. Минут десять после ухода Ивана мы сидели молча, опустив головы, погруженные каждый в свои мысли.

— Ну, а завтра что? — вдруг спросила Ирина.

Я поднял голову, не поняв странного вопроса. Она провела рукой по волосам и сама ответила.

— А завтра я возьму мешок и пойду тайгой по морозу навстречу... навстречу...

Она упала головой на мешок с сеном, заменявший мне подушку, и навзрыд заплакала. Я подошел, сел возле нее и погладил ее черные волосы.

— Что с вами? Ну, бросьте, бросьте...

Я говорил, но чувствовал, что какое-то большое и страшное горе постигло эту молодую душу... Я давно догадывался, что Ирина что-то скрывала, что-то не договаривала...

Ее полные плечи вздрагивали от рыданий. Порыв ветра оторвал полог палатки, бросил к нам ворох снега и заполоскал оборванный брезент. Я подошел и снова закрепил полог. Ирина села и посмотрела на меня мокрыми от слез глазами.

— Ну, скажите, зачем вы нашли меня сегодня в тайге? Зачем вы спасли меня? Лучше бы я замёрзла там... сразу бы к одному концу... Зачем вы спасли меня?

— Затем, что вы кричали, — стараясь сохранить спокойствие, ответил я, и стал набивать трубку.

Она как-то по-детски улыбнулась и вытерла платком слезы.

— Верно, — сокрушенно вздохнула она, — кому же умирать хочется? И мне совсем не хочется умирать... совсем не хочется... Поэтому я и закричала, смалодушествовала...

Она затихла и опять задумалась.

Я подошел к печке и, не глядя на Ирину, тихо спросил:

— Скажите, зачем вы мне лжете?

Она не изменила позы, не подняла лица, как будто ожидала этого вопроса. Подумав, негромко и спокойно ответила:

— Затем, что не могу сказать вам правду...

— Почему? Впрочем, простите... я не подумал.

— Спихватился я, поняв, что мой вопрос неучтив, но почувствовал, что как-то объясниться надо, и добавил: — Видите ли, почему я спросил. Я окончил институт в Москве. И детство, и сознательную большую часть жизни я провел там... Я инженер, правда предпочитаю работать простым лаборантом по некоторым причинам... По этим же причинам, о которых может быть позднее я вам скажу, я предпочитаю глухую тайгу столице. И вот, глядя на вас, я узнаю человека своего круга, вы — представительница тех многих моих знакомых и друзей там... в Москве. Та же манера говорить, тот же московский акцент, те же интеллигентские привычки... Я заметил, как быстрым и точным движением, знакомым мне давным давно, вы поправили волосы, я заметил, как вы ели за столом, несмотря на то, что вы были очень и очень голодны, вы старались соблюдать обычные просты для вас правила... И вся ваша маскировка очень неопытна и неуклюжа... И, согласитесь, что совершенно естественно встал передо мною вопрос: кто же она? Та же почта-льонша с московским акцентом? Ради Бога, простите меня за мою неучтивость, но...

— Вы не сделали ничего неучтывого, — перебила она меня, — тайга освобождает людей от многого, в том числе, очевидно, и от учтивости...

Я молчал.

— И еще: мужчины забывают, например, что на свете существуют бритвы...

— Это вы насчет моей бороды?

— Нет... вообще.

— Видите-ли, борода меня защищает от мороза, — спокойно возразил я, затачиваясь табачным дымом.

— И еще кое от чего...

Закинув руки за голову, она блеснула полосками зубов.

Я промолчал.

— Например, влюбиться в вас невозможно, — не унималась она.

«Дорого же мне обойдется мое любопытство» — подумал я, и мысленно послал себя к черту.

— Вы посмотрите на себя, на кого вы похожи... На лешего... Длинные волосы, рыжая борода...

— Не рыжая, а каштановая, — попробовал отшутиться я.

— Каштановая, каштановая... передразнила она. — Ну-с, что вас еще интересует? Может быть, сказать вам сколько мне лет?

— Зачем?.. Не думаете ли вы, что я скоро начну бриться?..

— Это вы мне в отместку за мое откровенное мнение о вашей внешности? Я считала вас острым. Так, скажите, кем вы меня считаете?

— Позвольте мне не отвечать на этот вопрос, чтобы не давать вам снова повода к обвинению во лжи...

— Нет, теперь вы должны ответить, ибо я сама вас об этом прошу. Роли меняются.

— Я не буду отвечать. . . Очевидно, вам это неприятно, а я не хочу, чтобы вам было неприятно.

— Я вас спрашиваю как вы думаете, — кто я?

— Прохожая.

— И только?

— . . . которая не выдержала бы экзамена, если бы захотела стать актрисой.

Она снова привсталла на койке, темные глаза ее заблестели злым огоньком запуганного и затравленного зверя.

— Да! — почти крикнула она — Я лгу! Слышите — я лгу! Я не почтальонша и никогда ею не была! Я такой же инженер, как и вы, с той только разницей, что . . . — задыхалась она. . . — Впрочем, — спокойнее добавила она, усмехнувшись, вам нет дела до того, какая между нами разница. Ведь я для вас только прохожая

Она легла лицом вверх, глубоко дыша, и уставилась глазами в потолок палатки. Минут двадцать мы молчали. Я досадовал на себя. Я чувствовал, что я тронул какую-то очень болезненную рану в душе этой женщины. Мне было ее жалко. Я встал и решил идти к себе, боясь, что раздражаю ее своим присутствием. Кстати и лампа начинала тухнуть, — керосин выгорал. Но она опередила меня:

— Я очень хочу спать.

— И хорошо сделаете, если ляжете немедленно, — сказал я, вставая. — Во-первых, вы очень устали и вам надо отдохнуть; во-вторых, керосин в лампе кончается.

— А, в-третьих? — меняя резко тон, лукаво спросила она.

Я немного растерялся.

— А, в-третьих, мне самому хочется спать, — умнее я ничего не придумал. — Вот вам моя койка, вот одеяло, сверху накройте еще вашим бушлатом. За печкой я посижу. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Я вышел. Все так же крутила метель, раскачивая сухие ели и лиственницы. Луна скрылась, на Кожве отрывисто лаяла лисица. В палатке рабочих храпел Иван, несмотря на несусветный холод, ибо печка потухла. Я раздул угли, подбросил дров и, когда они весело вспыхнули ярким пламенем, достал книгу, уселся перед печкой и принялся читать. Прочитав две страницы и убедившись, что из чтения толку не будет, я отложил книгу и стал наблюдать, как корчится на огне береста. Лениво тянулись какие-то незначительные мысли, вспоминалось то одно, то другое. . . Иногда вдруг ярко всплывал образ Ирины. . . Ее полные руки, выразительные темные глаза. . . Потом — опять что-то другое. . .

Сколько времени я сидел так и думал — не знаю. Кажется, под конец я вздремнул и проснулся от холода. Печка совсем потухла. Я вспомнил про гостью; очевидно, и у нее давным-давно прогорели дрова. Я бросился к ней в палатку.

Метель совсем стихла, и на зеленовато-голубом небе, обсыпанном яркими, как алмазы, звездами, сияла полная, светлая луна.

Осторожно откинув холст палатки, я вошел и присел на корточки перед потухшей печкой, боясь взглянуть на то место, где спала Ирина. Раздув огонь, я подкинул одной бересты. Она закорчилась и вспыхнула жарким пламенем, потрескивая и освещая всю палатку. Набросав сверху сухих дров, я выпрямился и бросил взгляд на свою койку.

Ирина лежала на спине, закинув руки за голову и в упор смотрела на меня.

Подойдите, — тихо приказала она.

Я подошел и сел к ней на койку. Она запустила пальцы в мою бороду и улыбнулась.

— Какая смешная кудрявая борода. . . Сколько ей лет?

— Два года.

— А вам?

— Тридцать.

— У вас есть жена?

— Нет, я не женат. Я любил одну девушку, она была моей невестой, но потом вышла замуж за моего приятеля.

— Ну, и дура, — улыбнулась она, — ведь вы, в общем, славный.

Я почувствовал легкий холодок где-то под сердцем и невольно подвинулся ближе к ней, но она тихо отстранила меня.

— Послушайте, — снова заговорила Ирина — Вы никогда не задумывались над тем, что составляет радость жизни человека?

— Не знаю, — замялся я, — очевидно, целый комплекс действий, обстановки, впечатлений, любимая работа, семья, любовь.

— Нет, — вздохнула она — Это все второстепенные факторы, вытекающие из главного. А знаете, что самое главное?

— Ну-ка?

Она подперла ладонями голову и, прямо смотря мне в лицо чуть прищуренными глазами, коротко сказала:

— Свобода!

Я подумал и ответил:

— Пожалуй, вы правы.

Опять печально залаяла в тайге лисица. Береста прогорала, и палатка снова погружалась во мрак.

« а Русь все так же будет жить,
плясать и плакать под забором »

громко продекламировала Ирина и вдруг обхватила меня полной и горячей рукой за шею.

Я наклонился и крепко поцеловал ее в теплые, сочные губы, чувствуя, как ускоряется биение моего сердца.

3 февраля.

Не знаю, вернусь ли я когда-либо снова к дневнику. Думаю, что нет. Я познал то, что называется неумолимым законом жизни, я познал цену свободы, я познал весь кошмар, который окружает нас, как покойника саван. Ведь должен же быть поставлен свыше какой-то предел человеку и его деяниям, ведь не вечно же быть человеку жертвой темных, подспудных инстинктов. Кто же, наконец, испросит свыше этот предел, кто же, наконец, испросит милости Божией?

Вчерашнюю запись в дневнике я сделал в 5 часов ночи, когда взволнованный, опустошенный, с радостным, но беспокойным сердцем я оставил Ирину и вернулся в палатку к Ивану. Он спал, похрапывая. Он спал, не подозревая, что через 2-3 часа я постигну страшную правду.

Я пишу, очевидно, в последний раз. Нет, не очевидно, а наверно. Бессмысленно писать, незачем, не надо писать больше. Смешно апеллировать к собственной душе, к собственному разуму. Вот моя последняя запись, без рассуждений, без комментариев.

Помню, что я уснул, тесно прижавшись к теплому телу Ирины. Было уютно, было радостно и хорошо. Мне что-то снилось, — кажется, какая-то миниатюрная скульптура, крошечная белая женщина с факелом в руке. Но это — на одну секунду, потом — оскаленные пасти, бесконечные оскаленные пасти и — кровь на острых клыках, горячая черная кровь.

.. Было темно. Я ощутил пустоту, чего-то не достало. Я пошарил рукой и все понял. Ее не было. Я сел. Мне было страшно. Я потерял что-то свое, собственное, свою часть. . .

Опять, опять тоскливо заплакала лисица.

— Как она противно кричит. — негромко сказал кто-то у печки.

При первых звуках знакомого голоса я был уже возле нее

— Почему ты не спишь?

Она сидела в своей любимой позе — обняв ноги и положив подбородок на колени. Я кутал ее в будлат, целовал ее волосы, лоб, глаза.

Почувствовав на своих губах соль, я спросил:

— Что с тобой?

Она прижалась ко мне щекой и тихо сказала:

— Знаешь, мне так хорошо, так хорошо.

И, помолчав, добавила:

— Я могу тебе рассказать для будущего о том, что испытывает человек перед смертью.

Я растерялся, я хотел протестовать, я хотел сказать, чтобы она оставила эти глупые мысли, но понял, что в этот раз я буду лгать — она знает лучше меня.

Сжав мои щеки ладонями, она проговорила:

— Он испытывает сладкое замирание сердца перед великой тайной и больше ничего. И — холод. Давай раздуем угли.

Я вскочил и в одну минуту растопил печку. От тепла ли, от света ли, но на душе чуть повеселело. Ирина встала, потянулась и как-то буднично предложила:

— Будем-ка мы снова спать. А завтра.

Вдруг глаза ее испуганно расширились, она схватила меня за руку.

— Слышишь! Что это?

Я насторожился, но ничего не мог услышать.

— Слышишь? — снова спросила Ирина.

— Нет.

Она растерянно улыбнулась.

— Это мне показалось. Скажи, когда ваши вернутся?

— Возможно — завтра.

— Утром?

— Вряд ли — они ночью будут передвигаться. Впрочем, начальник странный. От него всего можно ожидать. А ты почему спрашиваешь?

— Я думаю, тебе надо идти спать в другую палатку, — не глядя на меня, проговорила она.

— Что? — удивился я, но тут же смиренно согласился.

— Прости, пожалуйста. Я не сразу понял — почему.

— Иди — еле слышно приказала она.

Я обнял и поцеловал ее так, как целуют близкого, когда расстаются с ним на несколько часов — быстро и некрепко.

Она провела рукой по моим волосам.

— Славный ты славный. Ну, иди.

Я ушел и сел за дневник. Повторяю, было 5 часов ночи. Окончив писать, вернее — еще не окончив, я положил голову на руки и стал припоминать тот взгляд Ирины, когда это случилось. И я почти пластически ощутил его. Потом я увидел снова крошечную белую женщину с факелом в руке. С трудом разлепив ресницы, я поднял тяжелую голову и осмотрелся. В палатке было мутно от предрассветных сумерек. За брезентом слышались голоса и отрывистый лай собак. «Наши вернулись» — мелькнуло в сознании и, рывком откинув полог, я выбежал на снег. В двадцати шагах от бивака я увидел быстро подходивших на лыжах четырех мужчин, одетых в форму, с винтовками в руках. На привязях рвались собаки. И в ту же секунду совсем рядом, почти над ухом, оглушительно хлопнул выстрел.

Еще не отдавая себе отчета в случившемся, но повинаясь инстинкту, я кинулся в палатку Ирины, заметив при этом боковым взглядом, что все четверо прищельцев, как по команде, упали в снег. Ворвавшись в палатку, я ничего сначала не мог разобрать, — плавал белесый горьковатый туман. В гулкой тишине я слышал бульканье воды, выливавшейся, очевидно, из опрокинутой на моем столе колбы. Где-то высоко, высоко над брезентом тихо зашумели сосны.

Прислонясь спиной к завязанному и надетому на плечи дорожному мешку, Ирина полусидела на койке, как-то страшно и неестественно свесив голову на грудь. Черные волосы, разметавшись, свисали почти до колен, закрывая лицо. Под расстегнутым ватным бушлатом голубела знакомая мне шерстяная блузка, покрытая странными темными пятнами. Маленькая рука с полусжатыми пальцами — далеко откинута в сторону. Одна нога была обута в валенок. Другой валенок валялся на земле рядом с согнутой в колене и низко опущенной правой голгой ногой, матово-белая, она жалко и беспомощно выделялась на черном фоне одеяла, наброшенного на койку. Большой палец красивой ступни был засунут в спусковую скобу моего старого охотничьего ружья, упавшего дулом на край лабораторного стола.

С застывшим сердцем я осторожно раздвинул на ее лбу пряди курчавых волос.

Лица не было. Было что-то бесформенное и жуткое.

Я помню, как я взял со стола лист бумаги, на котором карандашом что-то было написано, прижал этот хрупкий лист к своему лицу и поцеловал буквы — следы ее жизни. Как сквозь сон, я слышал, что вошли какие-то люди, слышал беспокойный голос Ивана и другой — низкий, спокойный, отвечавший Ивану.

— Бежала из места заключения. »

На этом дневник Михайлова обрывался. К последней странице была приколотая бумажка. Сверху типографскими буквами напечатано «Анализ грунта No 1937», а ниже — карандашом, ровным женским почерком, с правильно расставленными знаками препинания, было написано:

«Милый!

У меня есть только полминуты времени. Собаки и конвой совсем рядом. Самое главное в жизни — свобода».

Долго хранилась у меня эта небольшая бумажка. Иногда я ее доставал, перечитывал, смотрел на подмоченное слезой слово «свобода» и никаких особенных чувств оно у меня не вызывало. А скоро и совсем забыл и про Ирину, и про Михайлова, и про записку.

Жизнь в тайге протекала бесцветно и скучно. Зимой, по ночам, под шум белых метелей, мы играли в карты, пили спирт. Хором, осипшими от мороза и пьянства голосами, пели свою любимую таежную песню:

«Есть на севере дальнем могила,
Месяц клонит над нею рога
Там поземка летит легкорыло
И скрипит на морозе тайга. »

Холодно. Ах, как холодно на этой земле.



(Отрывок из поэмы).

От отца я слышал, что ходил за плугом
По кормильцу-полю мой суровый дед,
Что имел он хату где-то под Калугой,
Жил трудом привычным без особых бед

Но порой забота все ж видась под крышей
Год от году меньше приносил надел,
И, о вольных землях на Оби услышав,
Дед поймать покрепче счастья захотел

Продав пашню, хату, обзавелся возом,
Горсть родной землицы в тряпку завязал,
Распрощался с миром и под бабьи слезы
Зашагал с артелью — в дали, за Урал

Край суровый встретил чужаков сердито,
Не хотел им долго тайн своих открыть,
Но из крепкой стали были деды слиты,
Знали наши деды, как на свете жить

Там, где в дебрях тропы клали только звери,
Где века проплыли в тишине лесной,
Где лишь сосны глухо по ночам шумели, —
Там вкопали деды камень межевой.

И хватало всем тут и земли и воли!
Кто же мерял этот бесконечный край?
Кто бкинул взглядом даль лесных раздолий,
Кроме перелетных лебединых стай?

Только б руки были, да была бы сила,
Чтоб дары-богатства в закрома собирать.
Мать-земля сторицей, что ни брось, родила,
Рожь серпом под корень любо было жать

А в лесах, в болотах — тучи птицы дикой,
Звери .. Рыбы стай в глуби синих вод;
Бабы шли зарю в бор за земляникой,
Мужики собирали пчел таежных-мед.

На лесных полянах зеленели травы,
Прилетали гуси с юга каждый май...
И казалось людям, что за труд их правый
Бог послал на землю долгожданный рай.

Умирал дед поле с верным плугом
Занецали вечно сохранять трудом.
И казалось дедам, что к сынам и внукам
Ни нужда, ни горе не нагрянут в дом...

И лесные тайны сызмальства проведал,
И читал, как в книге, по следам зверей,
Был силен и ловок, и на лыжах бегал,
Догоняя гордых вожakov-лосей.